

Ольга Балла

Россия и Америка: взаимно искажая отраженья?

Могут ли вообще Россия и Соединенные Штаты Америки воспринимать друг друга объективно? Не столько даже глазами специалистов — историков, политологов, теоретиков культуры (чья основная задача, по идее, — выработка объективности; отдельный вопрос — в какой степени эта задача выполнима), сколько общекультурным сознанием: на уровне повседневных представлений, литературных образов, эмоциональных реакций? Неужели эти два зеркала способны отражать друг друга не иначе как, по словам поэта, «взаимно искажая отраженья»?

Во всяком случае, с самого начала и до сего дня история взаимоотношений и взаимного видения наших стран перенасыщена не(до)пониманиями, домысливаниями, мифами, идеализациями и демонизациями. И что совершенно точно — спокойствия и безразличия в этих отношениях не было никогда. Предвидится ли? (Да и надо ли?)

Попробуем приблизиться к пониманию этого с помощью книг, представляющих взаимное русско-американское восприятие с трех разных сторон — с трех разных позиций.

Американец Майкл Дэвид-Фокс, историк и социолог, строит собственную модель модернизационных процессов в России.

Американская славистка русского происхождения Ольга Матич, родившаяся за пределами России в семье эмигрантов первой волны, самой волею судеб занимает позицию редкостную — и тем более ценную: и на Россию, и на Америку она смотрит одновременно извне и изнутри, причем на Россию — глазами не только частного человека, но и исследователя-профессионала, и соединяет их — такие трудносоединимые — собственной жизнью.

И, наконец, российский историк-американист Иван Курилла подбирает ключ к самому устройству российско-американского взаимовосприятия, находит метафору (на наш взгляд — исключительно точную), которая позволяет очень многое понять как в притяжении наших стран друг к другу, так и во взаимном их отталкивании, а главное — в том, почему два этих процесса неотделимы друг от друга и не прекратятся, по всей видимости, никогда.

Как они видят нас.

Российская модернность глазами американского историка

Майкл ДЭВИД-ФОКС. Пересекая границы: Модернность, идеология и культура в России и Советском Союзе. / Пер. с англ. Т. Пирусской. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

Подзаголовок так и напрашивается на продолжение: ...и даже многих историков. И не только американских, но также израильских, шведских — и российских, с которыми, работая над книгой, автор сотрудничал и обсуждал связанные с нею проблемы. Но собрано воедино и проанализировано все многообразие их позиций все-таки американцем.

Всю первую часть своей книги, исследующей особенности модерности и модернизации в нашем отечестве, Майкл Дэвид-Фокс — профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне, научный руководитель Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ, редактор-основатель журнала «Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History» — посвящает обсуждению и сравнительному анализу взглядов своих коллег из разных стран на место России и Советского Союза в общемировых модернизационных процессах и «нескончаемым спорам» между ними об этом предмете. Собственно, о самой модерности — как, по крайней мере, показывает нам автор — есть, по всей вероятности, серьезные основания говорить все-таки во множественном числе. Таким образом, разговор о русской истории минувшего столетия явно способствует более отчетливому пониманию цивилизационных и культурных трансформаций, затрагивавших в то время мир в целом, и оттачиванию, уточнению самого понятия модерности. Потому что, конечно, происходившее после Октябрьской революции в СССР, какую бы ни занимать ценностную позицию по отношению к нему, — при внимательном его рассмотрении в любом случае проблематизирует сложившуюся понятийную сетку — особенно если подойти к вопросу не публицистически и не идеологически, а — насколько возможно — академически и взвешенно-аналитически. Именно это и старается делать автор. Такое, пожалуй, лучше всего получается при взгляде извне, для живущих здесь наша недавняя история, имеющая прямое отношение к семейной памяти, а с нею, в конечном счете, и к самооценке, все еще сохраняет чрезмерную эмоциональную актуальность. Не говоря уже о по сей день воспламеняющих воображение мифах об отечественной исключительности и об отталкивании от этих мифов тех, кого они не без оснований раздражают.

«Большевистская революция, — пишет автор, — по сути, дала импульс для растянувшихся на десятилетия глубоких изменений; первоначально ей сопутствовала волна иконоборчества, насилия и утопизма, которые подпитывали представление о советской исключительности как в СССР, так и за рубежом. Даже после того как в результате сталинской “второй революции” сформировался гибрид, сочетающий в себе радикальные перемены и то, что можно было бы назвать статично-консервативными элементами, советская идеология продолжала провозглашать неповторимость и самобытность коммунизма — утверждение, игравшее значимую роль в пропаганде, предназначенной как для советской, так и для иностранной аудитории. Дополнительный вес ему придавал ряд обстоятельств: обособленность сталинского СССР от “капиталистического” мира, новизна пятилеток и отмены частной собственности, политической системы и партийного государственного устройства, а также радикально изменившиеся культура и общество. Эти особенности советского строя без труда замечали даже те, кто мог разглядеть за бесконечными

разговорами о “новом мире” и новой исторической эпохе начало первого в мире социалистического государства».

Принадлежность к иной культуре дает спасительную возможность говорить об этих предметах без воодушевления и без отталкивания, зато с вниманием.

Понять ли Россию американским умом? Ну, если и не понять, то смоделировать, безусловно, можно, и на этих путях даже стороннего читателя-неспециалиста ждет много интересного.

Прежде всего — автор уводит исследовательскую мысль от стереотипов: от огрубляющей (до искажения) постановки вопросов вроде того, «был ли советский строй уникальным явлением для XX века или его революционная новизна сильно преувеличена» — или, еще с одной стороны, «был ли СССР, несмотря на все эксцессы коммунистического эксперимента, лишь частным примером современного государства». Вывод получается примерно такой: ни то, ни другое, ни третье, однако небольшая доля истины есть в каждом из вариантов ответа.

Рассмотрев все варианты существующих мнений на эти темы — по крайней мере, широкий их спектр, проанализировав споры, которые с «концом коммунизма» в Советском Союзе не только не привели к согласию, но еще и обострились, Дэвид-Фокс переходит к изложению собственных соображений на этот счет. Свое видение проблемы — которое нельзя не признать здравым и уравновешенным — он показывает на материале трансформации разных областей советской культурной жизни от первых постреволюционных лет до «постсталинизма»: взаимоотношения интеллигенции с массами (противоречивые: стремление одновременно «служить массам и переделывать их») — «Интеллигенция, массы и Запад», лики идеологии в советском контексте («Слепцы и слон»), культурная революция как понятие и практика («Что такое культурная революция?»), судьбы двух академий наук — новой, коммунистической и старой, российской — в 1918—1929 годах («От симбиоза к синтезу»). Последний раздел книги посвящен персоналиям; о нем чуть ниже — особо. Книга не представляет собой цельного исследования, она составлена из нескольких работ, написанных в разное время, но объединяемых общими интуициями и рамками одного проекта.

Во-первых, автор прослеживает пути, приведшие к возникновению модерности советского типа (который он называет «сложной интеллигентско-этатистской» ее формой). Во-вторых, он продумывает, каким образом именно этот вариант вырос — не только и даже не в первую очередь из большевистского произвола, но из переработанного в соответствии с большевистскими представлениями наследия Российской империи, став своеобразным его продолжением. Мысль о зависимости практик большевиков-преобразователей (не только репрессивных, хотя их все-таки в первую очередь) от разрушенной ими же системы жизни сама по себе, как показывает автор, очень давняя: «Часто те, кто стремился оспорить хвастливые заявления большевиков о заре новой эпохи, говорили, что большевизм многое унаследовал от самодержавия. Это было характерно и для первых политических противников большевизма на его родине, и для западных наблюдателей того и более позднего времени, ориентирующихся в дискуссии об отсталости России». Он же освобождает эту (довольно самоочевидную в общем виде) мысль от политических обертонов и рассматривает реальные механизмы этой зависимости-преемственности.

В свете этого в целом получается, что модерность как таковая предстает современному исследовательскому взгляду как совокупность частных и уникальных случаев, «особых путей» (и да, оборот «советский вариант модерности» автор употребляет). Ни частность, ни уникальность, ни особость всех этих путей и вариантов, показывает Дэвид-Фокс, не следует, однако, преувеличивать: при всем своем разнообразии эти случаи обнаруживают несомненные фамильные черты, что дает автору основания говорить о — в чистом и «правильном» виде нигде не

существующей — «родовой или “общей”» модерности. Есть куда больше оснований, замечает автор, говорить о «переплетенных модерностях», существующих «в рамках международной системы», взаимно обменивающихся в этих рамках элементами и влияниями.

Читатель заметит, что при разговоре о советских путях модернизации автор постоянно предпринимает сравнительный их анализ с тем, что происходило в других странах и даже в других временах. Так, например, роль идеологии в историческом процессе — «противопоставление», как он выражается, «идей и обстоятельств» — он рассматривает в контексте не одной лишь русской революции, но — одновременно с нею — и других крупнейших переворотов в порядках жизни: Великой французской революции — и «явлений нацизма и Холокоста». Это очень нетипичный ход, поскольку обыкновенно эти явления не рассматриваются коллегами автора как однопорядковые, их если и сравнивают, то попарно: русскую революцию — с французской, советский и нацистский режимы — друг с другом). Но такими сравнениями Дэвид-Фокс не ограничивается. Он, кроме того, неизменно удерживает в поле зрения взаимодействие Советского Союза с соперником-Западом, соотнесение с западным опытом и западными практиками (притяжение или отталкивание — в конечном счете не так важно, главное, что — соотнесение). Кстати, для уточнения картины в одной из глав — о культурной революции — Дэвид-Фокс привлекает к рассмотрению и соответствующую революцию в Китае.

Общего вывода-синтеза в книге нет, поэтому функции его поневоле приходится выполнять последней части. Она посвящена особым культурным фигурам, называется «Посредники и путешественники», и героев в ней всего двое, по одному с каждой из сторон взаимодействия. С русской стороны это — Майя (Мария Павловна) Кудашева, жена, секретарь и «культурный посредник» «кумира сталинской культуры» Романа Роллана, сыгравшая «уникальную многогранную роль в выстраивании отношений писателя с Советским Союзом». С западной — «пруссский большевик в сталинской России», немецкий политик Эрнст Никиш, заблудившийся «на перепутье» между двумя радикальными модернизаторскими проектами — коммунизмом и национал-социализмом. Общим фигурам автор неспроста посвящает внимание и объемы текста, сопоставимые с теми, что в других главах доставались целым культурным процессам: он находит их симптоматичными для времени.

Все это подводит нас к мысли — нет, не о том, что модернизация — процесс «западный» и во «внезападных» странах осуществляется по моделям, заимствуемым извне, все существенно сложнее: это значит, что модернизация — процесс диалогический. Происходящий не иначе как во взаимодействии. Пересекающий — как и сказано в названии книги — границы.

*Как мы видим их. Русские, американцы
и русские американцы глазами гражданки мира*

Ольга МАТИЧ. Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи. — М.: Новое литературное обозрение, 2017.

Вообще-то безоговорочно причислить Ольгу Матич (знакомую здешнему читателю по книге «Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siècle в России», вышедшей в том же «Новом литературном обозрении» в 2002 году) к «нам» — русским, рассматривающим «их» — американцев со стороны, было бы некоторым огрублением. «Мы» для нее (почти) на равных правах и с равными основаниями — и русские, и

американцы. Как, впрочем, и «они». Это взгляд извне — в обе стороны. И в обе стороны — лишь отчасти, но тем не менее — изнутри. Культурный опыт с уникальным устройством. Столь же трудный и одинокий, сколь и нетривиальный, открывающий перед человеком много нетипичных возможностей.

Тот, у кого подобного опыта нет, не всегда и догадается, чем за такие возможности приходится платить (из «Записок...» Матич есть возможность кое-что об этом узнать).

«Гражданкой мира», признаться, я назвала автора в подзаголовке тоже чересчур размашисто. Она — именно русская американка (об этой особенной категории людей, об эмигрантах разных поколений и их потомках, она много пишет в своей книге).

Таким образом, говоря о себе и своих собратях по судьбе, Матич опять-таки в значительной мере говорит об американцах.

И все-таки автор книги, чувствуется мне, скорее из «нас», чем из «них». Американская жизнь и культура ей хотя и совсем чуть-чуть, но все-таки более чужие, чем русские: это — приобретенное, пусть и в детстве, а русское было изначальным. Русский язык у нее, по меньшей мере письменный, — безупречный, точный в своей ясной сложности (да, так бывает) и без малейших признаков непринадлежности к русским контекстам. И вся ее семейная память, и основная часть памяти личной — русские (а память — это единственное место, где она, по собственному признанию, чувствует себя по-настоящему дома). Просто ее наблюдение за американской жизнью — включенное. И — все-таки — с некоторой принципиальной дистанцией.

Родившаяся в 1940 году в семье эмигрантов первой волны в столице Словении Любляне («там образовалась тесная эмигрантская колония, в которой прошла молодость моих родителей»), с четырех лет жившая в Австрии и Германии, а с восьми — в США, выбравшая своей специальностью русскую литературу и культуру, Ольга, как и ее родители, всегда считала себя русской (сербская фамилия — по одному из мужей, по рождению она — Павлова).

«Родители, — пишет она во вступлении к сборнику своих воспоминаний, — уехали из России подростками после победы большевиков в Гражданской войне. Мать происходила из консервативной семьи, которая с середины XIX века занимала видное место в общественной жизни Киева, затем в политической жизни России. Отец — из либеральной провинциальной интеллигенции Торжка».

Американские наблюдения, всё увиденное такими особенными глазами, здесь очень любопытно. Об этом можно прочитать в тех из составивших книгу глав-портретов, где рассказывается о «настоящих» американцах, друзьях автора: об Арнольде Спрингере, «марксисте, историке, “трансвестите”», о чернокожем художнике и психотерапевте Кене Нэше (и в связи с ним — о сложных межрасовых взаимоотношениях в США), о «последнем муже» автора, «настоящем американце» («хотя некоторые американцы так не считали»), профессоре Пенсильванского университета в Филадельфии Чарли Бернхаймере и... и всё. Этим список американских героев книги исчерпывается. С американцами ей, безусловно, интересно — и далеко не всегда легко, но куда больше ее занимает русская среда, включая эмигрантскую. Рассказы об остальных американцах вплетены в «русские» главы.

(Кстати, у нее много как бы невзначай брошенных замечаний о том, что отличает русских и американцев друг от друга. «Русский человек, даже из интеллигентской среды, не любит признаваться, что он чего-то не знает. Это отличает его от американцев, легко говорящих “не знаю”»; «Многие живущие в Америке русские говорят, что для русских друзья не менее, а подчас и более важны, чем семья, тогда как у американцев семья — на первом месте. Не знаю, так оно или нет...»)

Впрочем, есть еще глава, посвященная одной настоящей американке — дочери автора Асе: человеку русско-сербского происхождения с безоговорочно американской

идентичностью. «Моя дочь от первого брака (с Александром Альбиным) — настоящая американка, в отношениях с ней естественным образом проявляется моя американская идентичность. Не помню ни единого случая, чтобы Ася или ее друзья подвергли ее сомнению или чтобы я почувствовала в этой роли дискомфорт. Ася сознает свое русское происхождение, но по-русски говорит очень плохо».

Самое же интересное — то, что Матич пишет об устройстве собственной культурной ниши, о неустранимой ее проблематичности: «В моей идентичности сочетаются русские и американские ценности, в конечном счете не соответствующие полностью ни той, ни другой культуре». И даже о внутренней конфликтности. «Русское самосознание, — говорит она, — подчас пересиливает во мне американку, и наоборот, вследствие чего я полностью не утверждена ни в одном, ни в другом».

У такой ситуации есть и свои преимущества — впрочем, опять-таки, как чувствует сама Ольга, проблематичные: «Неукорененность позволяет мне быть вхожей практически всюду, но в глубинном смысле я всюду отчасти чужая. Это состояние внутренней бездомности задает амбивалентность восприятия...» Двойная культурная идентичность сказалась даже в выборе ею в свое время темы диссертации — творчество эмигрантки Зинаиды Гиппиус, известной не в последнюю очередь своей неопределенной гендерной принадлежностью, и вообще в интересе, в том числе исследовательском, к «противоречивым и нестандартным культурным явлениям»: «Одним из источников увлечения гендерной неопределенностью может быть моя двойная культурная идентичность, то, что можно назвать состоянием “между”».

Эмигрантская судьба естественно располагала (скорее, вынуждала) и к многоязычию, которое автор воспоминаний действительно обрела. «К восьми годам, — вспоминает она, — я была вынуждена выучить три иностранных языка: словенский, впоследствии совершенно забытый; немецкий (в двух вариантах — литературный и баварский диалект) и английский, ставший языком жизни; при этом «домашним» всегда оставался русский». «Способность к языкам, как мне кажется, положила начало моей мимикрии — поверхностному чувству, что я всюду вхожа».

Но слово «поверхностное» со всеми его негативными коннотациями тут не случайно. Признавая ценность приобретения многих языков, Матич говорит неожиданное: в многоязычии она усматривает один из источников своей неуверенности в себе: «...из-за него мне кажется, что у меня, по сути, нет родного языка. Вместо него — какая-то глубинная языковая неуверенность, скрывающаяся за владением несколькими языками и легкостью, с которой они мне дались». Свои отношения с языками она называет, скорее, «межъязычием» и замечает, что английский ей, несмотря на многие десятилетия жизни в нем, не такой уж и свой: «У меня не совсем акцент, а слишком тщательная артикуляция». Он выдает признаки присвоенности.

При всех неоспоримых преимуществах своей неукорененности Матич, однако, явно чувствует ее по большому счету бесплодной — чуть ли, кажется, даже не в прямом физическом смысле.

«Из моего поколения, — говорит она, — осталось трое — я, мой младший брат Михаил и внук Шульгина (Василия Витальевича Шульгина, двоюродного деда автора. — *О.Б.*) Василий. Мы не родились в России, но нас воспитали в русском духе, и каждый из нас создал свою собственную русско-американскую идентичность. Детей ни у брата, ни у Василька нет. Нет их и у моей дочери.

“Кровь выдохлась”, — говорила мама, обращаясь (скорее всего, неосознанно) к распространенному в конце XIX века дискурсу вырождения. В этой псевдонаучной теории важнейшее место занимала именно проблема конца рода. По этой теории, объяснение конца семейных линий Шульгиных, Билимовичей и Павловых в эмиграции

можно искать в неспособности совладать с нанесенными им революцией травмами, последствия которых проявились в их потомках».

По всей вероятности, такой неполноты принадлежности вместе с порождаемыми ею внутренними конфликтами можно было бы избежать — только вот что-то удерживало. С одной стороны, конечно, биографические, случайные по сути обстоятельства — «частые переезды из одной страны в другую в раннем детстве с конечной остановкой в Калифорнии». Но в гораздо большей степени — принципиальная позиция, идущая еще от матери с отцом.

«За всю свою долгую эмигрантскую жизнь они, — пишет Матич о родителях, — ни разу не вступили на путь ассимиляции и остались русскими во всех отношениях». Дочь усвоила их опыт — вместе с ценностями, с поведенческими матрицами, в американском окружении создававшими скорее неудобства и трудности, чем наоборот: «Меня воспитывали как носителя русской культуры, и эта “программа” включала в себя все ценности и комплексы старой эмиграции. Например, для нее была характерна болезненная реакция на изображение русских как грубых варваров, недостойных уважения. Это вообще русский комплекс, и я его усвоила».

«Теперь, — комментирует она свой детский опыт годы спустя, — за этой родительской установкой мне видится непонимание и без того травмированной детской психики, но главным для них было воспитать детей в русском духе и научить их бескомпромиссно отстаивать соответствующие ценности. Впрочем, бескомпромиссность характерна для российского сознания, проявляющаяся, например, в спорах до победного конца».

Ясно осознав все эти особенности и вполне трезво (с той же бескомпромиссностью) их оценив, она, однако, не стала их преодолевать, — собственно, никогда, даже, наверное, ко времени работы над воспоминаниями. В конечном счете это — выбор, притом что полноты принадлежности ей даже искренне хотелось: многое стало бы легче. «Однако желание ассимиляции вступало в конфликт с воспитанным во мне русским самосознанием. Когда меня в детстве спрашивали про мою национальность, я отвечала, что я русская, — даже в ситуациях, когда это было не так просто: например, в эпоху маккартизма (период обостренных антикоммунистических настроений в Америке)». «Не так просто» — это сдержанный автор еще мягко выражается: на самом деле из-за явной враждебности среды это могло быть попросту опасно. «Меня учили, — вспоминает Матич далее, — объяснять не только сверстникам, но и учителям разницу между Россией и Советским Союзом. Я честно выполняла свой долг, хотя меня все равно дразнили “красной”. Мой младший брат дрался с мальчиками, обзывавшими его “Хрущевым”». Некоторые дети эмигрантов в те времена «придумывали себе фиктивные “нерусские” биографии» никак не из желания поиграть с альтернативными реальностями. Юной Ольге это «...казалось унижительным. Это в основном были дети из семей, сделавших ставку на ассимиляцию, которую мои родители презирали. Помню одну такую девочку, чью национальность я раскрыла одноклассникам. Я тогда гордилась этим поступком вместо того, чтобы отождествить себя с ее желанием ассимилироваться. Теперь я осознаю свою детскую жестокость и понимаю, что в таких случаях подчинялась семейному сверх-я, а не более естественной потребности быть как все».

Такой, «как все», она все-таки не стала — благодаря чему мы и имеем возможность читать эту книгу.

*Как (и почему) мы с ними видим друг друга.
Взаимовосприятие русских и американцев
глазами русского историка*

Иван КУРИЛЛА. Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — (Что такое Россия)

Разговор о восприятии русскими и американцами друг друга был бы неполным без книги, которая привела бы все многообразие этих восприятий в обозримую систему, а в идеале — указала бы на то, что удерживает это многообразие в целом, определяет его. К счастью, такая книга — написанная историком-американистом, специалистом по истории российско-американских отношений XIX века Иваном Куриллой, — у нас как раз есть (и перечисляет столько типов мнений русских и американцев друг о друге, что достойна названия небольшой энциклопедии). Издана она «Новым литературным обозрением» в популярной серии «Что такое Россия» и, соответственно, не только систематизирует результаты научных изысканий самого автора, но и пересказывает установленное его коллегами. «Большая часть того, что здесь рассказывается, — признается автор, — была впервые найдена и описана не мной, эти истории рассыпаны по десяткам научных монографий и малотиражных сборников научных статей на русском и английском языках, в редких случаях — по журнальным публикациям догоштных журналистов. Работа автора состояла лишь в том, чтобы свести воедино множество историй, демонстрирующих переплетение российской и американской истории».

Все это, разумеется, не только не делает книгу менее захватывающей, но даже напротив того.

Это — прежде всего книга отражений (России и США — друг в друге). Более того, эти отражения представлены в их историческом развитии на протяжении нескольких веков (первый из героев книги, выстроенной, среди прочего, по хронологическому принципу, капитан Джон Смит, родился еще в XVI веке; основательный же разговор начинается с XVIII столетия). И главное: она показывает, что судьбы двух наших стран глубоко вплетены друг в друга — гораздо глубже, чем массовое сознание об этом догадывается. Курилла показывает: они, вообще-то, в таком родстве между собой, что едва ли не близнецы. А во многом близнецы и действительно. (Понятно, что и конфликтность в их отношениях — увы, похоже, не очень-то устранимая — в изрядной степени определяется именно этим близнецством, зеркальностью.)

Но стоп, все по порядку.

«Осей», вокруг которых автор выстраивает книгу и которые, как считает он вслед за Цветаном Тодоровым, определяют «пространство» отношений между любыми народами, — три. Первая — уровень знаний о другой стране (соответственно, тут идет речь о том, что два народа успели узнать друг о друге с XVIII по XX век). Вторая — оценка «страны и ее обычаев» (и тут обсуждаются взаимные их образы, представления, иллюзии, домыслы...). Наконец, третья — «от изменения себя по модели “другого” до изменения “другого” по собственному образцу» (все это в русско-американском взаимодействии, как легко догадаться, тоже было).

Важно еще вот что: Курилла не склонен концентрировать внимание на политических аспектах отношений России и США, которые при разговоре об этих отношениях приходят на ум практически неизбежно. «Пишущие об истории российско-американских отношений, — говорит автор, — как правило, сосредоточиваются на дипломатии и фокусируют внимание на холодной войне». Он же предлагает задуматься над тем, что эти темы, хоть и важны, — никак не исчерпывают «богатства двусторонних

связей». Курилла выводит даже общую формулу этих связей — которая, при всей ее ясности, далека от упрощения.

Он вообще ведет себя очень неортодоксально, делая основным предметом книги «то, что обычно остается в примечаниях»; при выборе между широко известными сюжетами и теми, что известны лишь узким специалистам, отдавая предпочтение последним.

Он рассматривает ту самую изнанку русско-американской ткани, к которой крепятся ее узелки.

Подобно автору первой из книг этого обзора, Дэвиду-Фоксу, Курилла выводит читательское восприятие за пределы по меньшей мере трех классических в своей распространенности стереотипов. Согласно первому из них, «две страны являются противоположностью друг друга и у них нет ничего общего». Второй стереотип настаивает на «неизменности устремлений и политики каждой из стран на протяжении веков». Третий гласит, что отношения между ними строятся исключительно на основании «“геополитического” или стратегического соперничества».

Так вот — ничего подобного.

Ну, то есть, как: соперничество, разумеется, существует — автор и не мыслит отрицать очевидное. Но вот каковы его корни и как оно устроено?

В книге внятно сказано о различиях между нашими странами — принципиальных, структурных. Настолько радикальных, что в пору, пожалуй, говорить и о противоположности. Сам автор, будучи человеком науки, склонным к взвешенным суждениям, таких категорических заявлений не делает, но ключ к пониманию этих различий вкладывает в читательскую руку с самого начала: «в основе различия двух стран, — говорит он, — лежат отношения государства и общества». «Если в США общество самостоятельно решает возникающие перед ним проблемы, то в России, как правило, решение находит государство». Однако здесь-то и кроется их родство (один из его источников): «...оба варианта являются крайними проявлениями отношений, выработанных Европой».

Отношения России и США, показывает автор, во многом определяются зеркальной противоположностью их отношений с этим своим материнским континентом: «...если США на протяжении значительной части своей истории от Европы “отталкивались”, то Россия, напротив, в Европу стремилась. В обоих случаях такая “крайняя” позиция была вполне выгодна: американцы, отталкиваясь от Европы, использовали для усиления сравнения Россию (и отталкивались уже от ее образа), а русские, желающие Европу догнать, раз за разом пытались “обойти” старый континент “на повороте”, беря за образец собственной модернизации ушедшие вперед Соединенные Штаты».

Обе страны, особые варианты Европы, две границы ее, «между которыми разместилась в политическом смысле сама Европа», «на протяжении последних столетий используют европейский политический язык для построения обществ, отличающихся от европейского (и тем обе страны отличаются, например, от неевропейского Китая и ряда других стран)». Нас разводит, по Курилле, именно общность языка: «накал взаимной критики» он по крайней мере отчасти склонен объяснять его использованием: «...государства за пределами этой общности могли быть сколь угодно далеки от идеала, но не становились объектами критики, поскольку предполагалось, что их надо описывать другим языком».

А значит — разводит нас в конечном счете коренная общность ценностей: «Резкая двухсотлетняя критика российской политической системы американцами (и отсутствие сопоставимой критики, например, Китая) объясняется тем, что Россия считалась частью той же цивилизационной общности, а значит, могла оцениваться на основании тех же стандартов».

Вообще, ведущая метафора книги — метафора зеркала, отражения.

Две страны, говорит Курилла, неспроста так настойчиво привлекали и продолжают привлекать внимание друг друга: каждая на всем протяжении истории «играла для партнера роль “значимого Другого”, то есть такого общества, сравнение с которым помогало понять себя». И это еще одна сторона «зеркальной» метафоры.

История нашей с американцами неразрывности представлена в книге по преимуществу в судьбах отдельных людей, иногда приближающихся по своей невероятности к авантюрному роману (в этом книга неожиданным образом сближается с воспоминаниями Ольги Матич, которая тоже предпочла рассказать собственную память не как-нибудь, а в портретах, — разве что здесь рассказывается память историческая). И такой подход совершенно обоснован, он даже восполняет некоторую лауну: «В исследованиях дипломатии, — говорит автор, — обычно теряется масса личных контактов. По умолчанию считается, что их ролью можно пренебречь, ведь силовые и экономические линии, протянувшиеся между странами, неизмеримо важнее. Во многих случаях международных отношений так и есть. Однако не в случае России и США: за минувшие полтора века из Российской империи, СССР и России в Америку переселились несколько миллионов активных людей; Россия, в свою очередь, несколько раз за это время активно привлекала в страну американских инженеров и опыт США. В результате личные истории, выпадающие из традиционных монографий, должны стать объектом особого внимания». Их-то портреты мы здесь и увидим.

А отдельную главу Курилла посвящает «историям любви, часто драматическим, иногда трагическим, которые, тем не менее, связывали американцев и русских на протяжении всех отношений».

Более того, автор показывает нам, что не только мы многим обязаны Америке. То, что «российская экономика несколько раз так активно заимствовала модели и технические решения у США, что ее промышленность до сих пор несет на себе следы последовательных волн “американизации”», — все-таки более-менее присутствует в массовом сознании. Он же обращает внимание на то, что и Соединенные Штаты во многом обязаны нам самим своим обликом: «...на американскую историю огромное количество выходцев из России оказало безусловное влияние, без них, не преувеличивая, эта страна выглядела бы совсем по-другому» — и чуть ли даже, судя по некоторым довольно радикальным формулировкам автора, самим своим существованием: «Америка в значительной ее части создана эмигрантами из России, и в этой ее части является проекцией России». Притом не столько реальной, а такой, «которой она должна была быть в представлении эмигрантов».

Что? Америка — это идеальная Россия?.. Или, по крайней мере, — альтернативная Россия?

Во всяком случае, автор подводит нас к мысли, что очень похоже на то: «Начиная с последней четверти XIX века из России в США эмигрировали миллионы людей, бежавших от репрессивного государства и от революции. Они переделали Америку в соответствии со своей мечтой (и помогли ей невзлюбить страну, из которой бежали)». Само отталкивание США от России определила, выходит, все та же Россия? — да, «у большинства эмигрантов сохранилось резко критическое отношение к стране, из которой они уехали, и они донесли это отношение до остальных американцев». Но ценности-то их сформировались в России!

Не говоря уж о том, что «многое в США, воспринимаемое нами как сугубо американское, создано выходцами из России (или при их ключевом участии): от Голливуда (плеяда создателей крупнейших студий и режиссеров) до популярной музыки (Ирвинг Берлин). От воинственного анархизма (Эмма Гольдман) до “евангелия капитализма” (Айн Рэнд). От вертолетов (Сикорский) до телевидения (Зворыкин) и Гугла (Брин)». Как после этого не утверждать, что эмигрантская Россия — важный источник американской идентичности?

Заканчивая книгу в период очередного обострения российско-американских отношений, автор признается: он прекрасно отдает себе отчет в том, что этот период — не только не первый, но и не последний. Это не то чтобы внушает оптимизм, но, по крайней мере, не дает впасть в окончательное отчаяние, сколь бы соблазнительным оно ни казалось: отношения наших стран изначально, по самой своей структуре, устроены, как маятник. Качнувшись в одну сторону, он непременно качнется в другую.